

Век Наполеона

Сергей Тепляков

реконструкция эпохи



Сергей Александрович Тепляков

Век Наполеона.

Реконструкция эпохи

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553505

Тепляков С. Век Наполеона: ОАО «ИПП «Алтай»; Барнаул; 2011

ISBN 978-5-88449-238-7

Аннотация

«Век Наполеона» – это первая книга о наполеоновской эпохе «в формате 3D». Она является «волшебными очками», при взгляде через которые события, вещи, люди и их поступки приобретают объем. Само пространство эпохи впервые стало многомерным. Книга позволяет разглядеть крупное до мелочей, а мелкое – во всех подробностях. В книге многое написано впервые: например, последовательно прослежена история французской оккупации Москвы; проанализирован феномен народной войны в наполеоновскую эпоху – не только в России, но и в Испании, Финляндии, Тироле, Пруссии; рассмотрены вопросы тогдашней военной медицины. Рассказано о бытовой жизни на войне – в походе, в бою в плену. Биографические очерки об английском премьер-министре Уильяме Питте-младшем и английском короле Георге Третьем (вдохновители первых антинаполеоновских коалиций) также первые в российской

наполеонистике. Рассмотрена и тема противостояния Наполеона и Церкви (скорее даже Наполеона и Бога), которая как минимум с 1917 года по понятным причинам российскими историками не анализировалась и во внимание не принималась. Очень много внимания уделено частной жизни людей того времени – их образованности, нравственным опорам, устремлениям и целям.

Содержание

Предисловие	6
Времена и нравы	11
1	13
2	21
3	26
4	29
5	36
6	41
7	52
8	55
9	61
10	69
11	74
12	80
13	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Сергей Тепляков
Век Наполеона.
Реконструкция эпохи

Предисловие



В 2012 году исполняется 200 лет Отечественной войне. В разные времена к ней относились по-разному. Когда перед 100-летним юбилеем в 1911–1912 годах историки начали отыскивать ее памятники, в газетах появились печальные новости. Могила генерала Якова Кульнева, погибшего в бою под Клястицами 20 июля 1812 года, была в церкви принадлежавшего Кульневым села Ильзенберг. «Церковь бедная, неотложно нуждающаяся в капитальном ремонте. Пол церкви крашеный, деревянный, совсем прогнил. Подходишь к гробнице героя и чувствуешь, как трещит пол – того и гляди провалишься. Стены церкви сырые, церковь холодная. Обидно смотреть, в каком небрежении находится эта полузабытая белая церковь в полурусском крае, давшая вечный приют незабвенному герою», – так писал в январе 1912 года «Виленский военный листок». Тогда же выяснилось, что усадьба Кутузова Горошки на Волыни продана немцу-колонисту. По правде сказать, тогдашние газеты куда больше интересовались историями поисков наполеоновских кладов. Однако в честь юбилея были возведены памятники русским полкам и дивизиям на Бородинском поле.

Французы попросили разрешения поставить памятник своим – Россия разрешила. Но монумент, отправленный на пароходе «Курск» из Антверпена, в Петербург не дошел – 12 августа пароход попал в шторм и затонул. (Удивительное совпадение: в 2000 году, так же 12 августа, затонула атомная подлодка «Курск». Все же не стоит давать кораблям имена

судов, нашедших свою смерть не в бою). В некоторых книжках пишут, что монумент представлял собой фигуру Наполеона – так, мол, император во второй раз не покорил Россию. Однако по описанию газеты «Виленский вестник» от 23 августа 1912 года памятник представлял собой «пирамидальную колонну высотой в три сажени, увенчанную бронзовым орлом». На пьедестале была высечена золотыми буквами надпись «Aux morts de la Grand Armee. 7 septembre, 1812» – то есть монумент, находящийся на Бородинском поле сейчас, повторяет его полностью, без всяких Наполеонов. Обелиск французы все же установили – со второй попытки. Однако после революции 1917 года, когда Отечественная война попала в разряд империалистических, его разломали в первую очередь – империалистический да еще и империя не наша! В 80-е годы прошлого века памятник восстановили при участии тогдашнего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Кстати, земля под памятником считается французской территорией, так что Франция от Москвы на самом деле не так далеко.

Большевики хотели взорвать и русские памятники на Бородинском поле, да руки не дошли. Или все же не поднялись? Только могилу Багратиона, про которого было известно, что похоронен он во всех орденах, разломали, кресты и звезды растащили.

Все изменило нападение Гитлера на СССР. Армии и стране нужны были герои, к которым НКВД гарантированно не

имел бы вопросов. Часть наследия проклятого прошлого срочно реабилитировали: так в историю России вернулись имена Суворова, Кутузова, Багратиона. Евгений Тарле начал вносить правки в своего «Наполеона», сопоставляя Гитлера и Наполеона, естественно, не в пользу первого. В послевоенных изданиях эти места стали сокращать.

Своей книгой я хочу создать еще один памятник людям той удивительной эпохи.

Книга эта начата была летом 2008 года и окончена 28 октября 2010 года. Она началась с небольшого газетного очерка о наполеоновском времени, который потом разросся: каждый герой требовал написать о себе побольше, каждое событие содержало в себе столько поразительных подробностей, что делалось невозможным пройти мимо них.

В книге я по мере возможностей старался реконструировать эпоху, которую определил с 1793 года (первая победа Наполеона в Тулоне) и до 1821 года: степень осведомленности людей об окружающем их мире, их ценности, правила их жизни, отношение к смерти, к богатству, понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас нам кажется, что люди были одинаковы во все времена. Это так, да не так. Главное, что отличает нас, нынешних, от людей девятнадцатого века: они знали, для чего живут. Об этом – в главе «Смысл жизни». Мы соревнуемся с соседями, а они тягались с богами – об этом в главе «Религия Наполеона». Ну да, они не были совершенны – об этом в главе «Времена и

нравы». Но они строили свой мир так, чтобы не стыдно было передать его потомкам – об этом в главе «Питт». Глава «Герцог III» – об одном из несчастнейших людей той эпохи, об английском короле. Война была для них частью жизни – об этом в главах «О войне», «В плену», «Ранение и лечение», а также в главе «Партизаны и ополчение». Они думали, что видят конец света, но оказалось – все к лучшему и нет худы без добра. Об этом – в главе «Москва в 1812 году». А о том, далеко ли на самом деле от великого до смешного и так ли далеки те люди от нас, сегодняшних, – в главе «Через века».

Сергей Тепляков.

28.10.2010.

Времена и нравы

Население. Образование. История. Религия. Семья.



В 1812 году население России составляло 41 миллион человек, делившихся на разные сословия, а также – на производящий и непроизводящий классы.

К первому относились купцы, мещане, вольные люди и крестьяне – казенные, удельные, помещичьи, дворцовые, коношенные и т. п. (в 1812 году купцов, мещан и вольных людей было 137 тысяч, а, например, помещичьих крестьян – десять с половиной миллионов). Ко второму – дворяне (их было 225 тысяч на всю Россию), духовенство, военные и разночинцы. При этом «паразитов» было не много: непроизводящий класс относился к производящему как 1 к 9 – девять производителей содержали одного потребителя.

В 1811 году в России было 630 городов, при том, что городами считались тогда населенные пункты, которые теперь и деревней назвать было бы трудно. Так в России в 1811 году был 91 «город третьего класса» (с населением 5–10 тысяч), 233 города четвертого класса с населением от 2 до 5 тысяч человек, 141 город пятого класса с населением одна-две тысячи и даже города шестого класса – таких было 128, в каждом из них жило меньше тысячи человек. В столицах – Москве и Петербурге – жили по 300 тысяч человек. Города делились на уездные, заштатные (те, которые прежде были административными центрами, но потом по разным причи-

нам потеряли свое значение, остались «за штатом»), посадки и местечки. В европейской России один город приходился на 2.289 квадратных верст (в Сибири же – на 6.514 квадратных верст).

Жили широко, по нынешним меркам – невообразимо широко. У князя Александра Куракина, одного из видных сановников того времени, мундир был так залит золотом, что не загорелся во время пожара, которым кончился злополучный бал в честь свадьбы Наполеона и Марии-Луизы у князя Шварценберга в Париже. (Золото на мундире так раскалилось, что князя Куракина, найденного под досками пола, некоторое время не могли поднять – обжигались).

Елизавета Янькова (с ее слов Дмитрий Благово написал «Рассказы бабушки», уникальный документ конца XVIII – середины XIX веков) рассказывала: «Людей в домах тогда держали премножество, потому что кроме выездных лакеев и официантов были еще дворецкий и буфетчик, а то и два; камердинер и помощник, парикмахер, кондитер, два или три повара и столько же поварят; ключник, два дворника, скороходы, кучера, фореиторы и конюхи, а ежели где при доме сад, так и садовники. Кроме этого у людей достаточных (надо полагать, что прежде Янькова описывала городскую бедноту... – прим. С.Т.) и не то что особенно богатых бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть понемногу, а все-таки человек по десяти. Это только в городе, а в деревне – там еще всякие мастеровые, и у многих псари и егеря, которые

стреляли дичь для стола; а там скотники, скотницы, – право, я думаю, как сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по двести человек прислуги, ежели не более. Теперь и самой не верится, куда такое множество народа содержать, а тогда так было принято, и ведь казалось же, что иначе и быть не могло...». В другом месте она перечисляет, что за прислуга жила в деревне ее отца Боброво: «У батюшки были свои мастеровые всякого рода: столяры, кузнецы, каретники; столовое белье ткали дома. И, кроме того, были ткачи для полотна; был свой кондитер».

Тогдашний «русский мир» и мир вообще – те города и территории, которые упоминаются в повседневном обсуждении, – были намного меньше. Путешествие из Петербурга в Москву занимало неделю. Тамбов жителям столиц уже казался дальними странами, окраиной империи (в романе Данилевского «Сожженная Москва» Ростопчин советует княгине Анне Аркадьевне Шелешпанской в случае приближения Наполеона к Москве уезжать «хоть бы в вашу коломенскую или, еще лучше, подальше, в тамбовскую вотчину»).

Английский тогда знал в России редкий человек, а, например, японский – пожалуй, и вовсе никто. В 1791 году в Иркутской гимназии был устроен класс японского языка, в котором преподавал спасшийся при кораблекрушении японец, принявший православие и живший под фамилией Колотыгин. Было у него пятеро учеников, которые должны бы-

ли стать переводчиками в торговых делах с Японией. Однако в 1810 году японец Колотыгин умер. Учеников осталось только двое. Учителем к ним определили имевшегося в Иркутске японца с фамилией Киселев. Однако Киселев был «из японских простолудинов» и научить чему-либо своих учеников так и не смог.

Зато почти все русские дворяне говорили по-французски. Ну или считали, что говорят на языке Вольтера. На эту тему в те времена ходил забавный анекдот (кстати, и анекдотом тогда называли не придуманную, а реальную смешную историю): однажды за обедом у императора Александра генералы Уваров и Милорадович горячо разговорились между собой на французском. Император некоторое время силился их понять, но в конце концов обратился к сидевшему рядом французскому эмигранту графу Ланжерону с вопросом, о чем спорят Милорадович и Уваров. «Извините, государь, — отвечал Ланжерон, — я их не понимаю: они говорят по-французски...».

Приводящий в своих записках эту историю поэт Петр Вяземский добавляет с усмешкой: «Известно, что Уваров и Милорадович отличались своей несчастной любовью к французскому языку». (Денис Давыдов писал, что Милорадович обладал «страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке»). Федор Уваров же «блеснул» своим французским перед самим Наполеоном: как-то раз император французов, беседуя о каком-то сражении, спросил Ува-

рова, кто тогда командовал русской конницей. Уваров отвечал: «Je, sire», хотя должен был бы сказать «se moi» (сэ муа – я). Ответ же Уварова аналогичен чукотскому «моя, моя командовала...».

При этом было немало желающих приблизить один язык к другому. Денис Давыдов писал: «Генерал Костенецкий почитает русский язык родоначальником всех европейских языков, особенно французского. Например *domestique* явно происходит от русского выражения дом мести. Кабинет не означает ли как бы нет: человек запрется в комнату свою, и кто ни пришел бы, хозяина как бы нет дома. И так далее. Последователи его, а с ним и Шишкова, говорили, что слово республика ни что иное, как режь публику».

Уже после вступления наших войск в Париж подобное «знание» французского нередко играло с русскими офицерами разные шутки. Так, один офицер в ресторане, отчаявшись разобраться в чужеземных буквах, просто отчеркнул карандашом первые четыре блюда и удивлялся, почему ему принесли четыре разные супа. Другой, услышав, как официант предлагает ему «пети пуа», велел принести, соблазнившись звучностью слов. Каково же было возмущение, когда оказалось, что это просто горох!

Впрочем, со многими среди русской знати была обратная история: превосходно говоря на французском, родной язык они знали кое-как. Князь Дмитрий Голицын, став в 1820 году московским генерал-губернатором, записывал свои речи

сперва по-французски, потом переводил и буквально заучивал, как это делают школьники, малознакомые для него слова.

Тут надо знать, что на переломе веков и русских языков было два, если не больше (а может, у каждого русского он был свой). Как раз тогда Карамзин начал перестраивать русский язык, состругивая с него церковнославянскую многоречивость, выпренность, разные «поелику» и прочие слова. Карамзин делал язык проще, и он же добавлял в него новые, им придуманные, слова: «благотворительность», «влюбленность», «вольнодумство», «достопримечательность», «ответственность», «подозрительность», «промышленность», «утонченность», «первоклассный», «человечный». Из французского он ввел в русский слова «кучер» и «тротуар» (Кстати, еще Александр Блок писал «троттуар»). Он же вернул в оборот букву Ё (придумана она была еще в 1783 году Екатериной Дашковой, тогдашним директором Петербургской академии наук, но применялась редко, так как выговаривать букву Ё считалось признаком черни – благородные господа вместо этого говорили Е).

Как всегда в России изменения эти наткнулись на противодействие. Некоторая часть общества полагала, что это все влияние Франции и что Россия уже и так сделала в эту сторону немало шагов: эдак через преобразования языка и заимствования слов недалеко и до главной заразы – революции! На защиту русского языка встали адмирал Александр

Шишков и поэт Гавриил Державин. В 1803 году Шишков выпустил «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», в котором писал: «Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим». То есть Шишков видел в распространении французского языка почти прямую диверсию: «Человеческая душа не делается вдруг злою и безбожною; она становится таковою мало помалу, от примеров, от соблазнов, от общего и долго-временно развивающегося яда безверия и развращения».

В чем-то он не ошибался: на момент написания «Рассуждения» Франция для русских была светочем, маяком, идеалом. Перед самой войной, в 1811 году, Шишков и Державин основали общество «Беседа любителей русского слова», главной задачей которого было продвижение «старого» русского языка и отражение атак на него Карамзина, Жуковского и других «новаторов». Шишков полагал, что знание французского языка и преклонение перед Францией по логической цепочке приведет русских к предательству России. Логика Шишкова в ходу и сейчас, только вместо Франции идеологическим диверсантом и развратителем русских душ посредством языка, сленга, кино и стиля жизни считается Америка. Между тем, как оказалось, одно вовсе не следует из

другого. Возможно, поэтому после 1812 года, расставившего все точки на Ё, спор сам собой сошел на нет, хотя и с формальной победой новаторов русского языка.

В те времена «науки» преподавались кое-как. В общем-то, человечество не так много и знало, так что особо и преподавать было нечего. Почти все, что сегодня для нас обыденно, тогда казалось сомнительной теорией и выглядело фокусом.

Например, познания об электричестве были тогда на уровне трюков с дергающейся лягушачьей лапой. Да и то заметивший это Гальвани считал, что заряд электричества содержит само тело, и только Алессандро Вольт предположил, а затем и доказал, что электричество можно получать с помощью химических реакций, и создал в 1800 году «вольтов столб» – первую батарею, вырабатывавшую электричество (в Царскосельском лицее Александру Пушкину и его однокашникам на уроках физики показывали уже не только лягушачью лапу, но и «вольтов столб»).

При этом электричество кое-где уже попало в обиход: помещик Ижорской в романе Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» наказывает своих провинившихся людей не розгами, а электрической машиной. Ею же Ижорской лечил болезни – чуть ли не все подряд: например, когда скотник Антон от болезни не смог ходить, Ижорской пропустил через бедолагу ток. Недомогание «как рукой сняло».

Вполне вероятно, у Ижорского была «лейденская банка» –

изобретенный еще в 1745 году голландцами ван Мушенбруком и Кюнеусом конденсатор электричества. Кстати, Кюнеус был первым в мире человеком, которого ударило током – Мушенбрук испытал действие «банки» на своем ученике.

Что физика – даже глобус выглядел тогда совершенно иначе. Антарктида еще не была открыта да и рассказы об Австралии (открытой в 1770 году) для многих были тем же, что для нас – фантастические повести о других планетах. Об Америке русские люди тогда не думали вовсе или думали ничтожно мало – своей земли было через край. Поэтому путешествие камергера графа Николая Резанова, именно в 1805 году добравшегося на бриге «Мария» (а вовсе не на «Юноне» и «Авось») до Калифорнии, тогда еще принадлежавшей испанцам, было почти сразу прочно забыто. Настолько прочно, что Вознесенский наткнулся на эту историю не в России даже, а в Ванкувере, в Канаде, читая книгу Джорджа Ленсена.

Поэт, правда, немного ее подшлифовал: у него Резанов отправляется в путь к Русской Америке 23 июля 1806 года на «Юноне» и «Авось», хотя на самом деле Резанов 26 июля 1803 года отплыл из Кронштадта в должности главы первой русской кругосветной экспедиции (в составе кораблей «Надежда» и «Нева») и одновременно русского посланника в Японии. В пути Резанов разругался с Крузенштерном, считавшим начальником кругосветки себя, до такой степени, что общались они только посредством записок, а после при-

хода кораблей в Петропавловск-Камчатский Резанов направил губернатору жалобу, в которой требовал Крузенштерна казнить. (Разброд был полный – командир «Невы» Юрий Лисянский то и дело отворачивал в сторону и плыл в одиночку – так открыл один из Гавайских островов). Кое-как Резанов и Крузенштерн помирились, однако дальше – в Россию мимо мыса Доброй Надежды – Крузенштерн отправился уже без Резанова: тот поплыл в другую сторону, на Аляску. «Юнону» Резанов купил уже в Америке («Авось» в реальной истории отсутствует). На ней он отправился в Сан-Франциско налаживать связи с испанской колонией. Тут, в Калифорнии, с сорокалетним вдовцом (жена Резанова умерла при рождении их третьего ребенка) приключилась любовь – он встретил 15-летнюю дочь губернатора Кончиту де Аргуэлью.

Вознесенский опускает причину по которой Резанов вынужден уехать от Кончиты, о расставании говорится только: «Я знаю, чем скорей уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе». Вознесенский понимал, что деталями нагружать поэму не стоит. Детали были вот в чем: Резанову на брак с католичкой требовалось, кроме разрешения Российского императора (как на всякий брак его подданного с подданным других монархов), еще и согласие Папы Римского. Была еще и проза: Резанов спешил отвезти провиант в Ново-Архангельск – какая поэма выдержит солонину, крупу и водку?

На решение всех проблем Резанов просил у Кончиты и ее родни два года. В Красноярске 1 марта 1807 года он умер. В биографиях пишут, что он простыл. В поэме Вознесенского говорится, что Резанов умер от «пустой хворобы». Понимать это можно по-разному. Однако в «Сибирском хронографе» со ссылкой на словарь Митрополита Евгения говорится, что погубило мореплавателя сибирское хлебосольство: в Якутске, Иркутске и других городах империи его угощали так, что здоровье графа не выдержало. За едой ехал – от еды и погиб...

(В Красноярске его надгробие на берегу Енисея просто-яло до 60-х годов прошлого века. Потом там решено было строить концертный зал. Могилу вскрыли. В ней лежал скелет в камергерском мундире и при шпаге. Шпагу будто бы увезла тогдашняя заведующая краевым отделом культуры).

Кончита ждала своего возлюбленного 35 лет, после чего ушла в монастырь под именем Мария Доминга. Кстати, намного раньше Вознесенского об этой истории любви написал Френсис Брет Гарт, американский писатель, вышедший из золотоискателей. Его баллада «Консепсьон де Аргельо» была известна еще в дореволюционной России.

Сорок лет осаду форта ветер океанский вел
С тех пор, как на север гордо русский отлетел орел.
Сорок лет твердыню форта время рушило сильней,
Крест Георгия у порта поднял гордо Монтерей.
Цитадель вся расцветилась, разукрашен пышно зал,

Путешественник известный, сэр Джордж Симпсон там блистал.

Много собралось народу на торжественный банкет,
Принимал все поздравленья гость, английский баронет.
Отзвучали речи, тосты, и застольный шум притих.
Кто-то вслух неосторожно вспомнил, как пропал жених.
Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон: «Нет, жених не виноват!

Он погиб, погиб бедняга сорок лет тому назад.
Умер по пути в Россию, в скачке граф упал с конем.
А невеста, верно, замуж вышла, позабыв о нем.
А жива ль она?» Ответа нет, толпа вся замерла.
Конча, в черное одета, поднялась из-за стола.
Лишь под белым капюшоном на него глядел в упор
Черным углем пережжённым скорбный и безумный взор.
«А жива ль она?» – В молчаньи четко раздались слова
Кончи в черном одеянье: «Нет, сеньор, она мертва!».

Резанова в России забыли еще и потому, что Крузенштерн и Лисянский, вернувшись в 1806 году в Россию, постарались своего начальника из истории кругосветки вычеркнуть. Они, впрочем, и друг друга бы вычеркнули – так ревновали один другого к славе первопроходцев. В 1809 году начал публиковать свой отчет Крузенштерн, в 1812 году выпустил книгу Лисянский. Интересно, что Крузенштерн даже после экспедиции считал Сахалин полуостровом наподобие Камчатки.

Впрочем, не только географию России, но и ее историю русские знали довольно смутно. Василий Никитич Татищев, живший во времена Петра Первого, отыскавший «Русскую правду» Ярослава Мудрого и «Судебник» Ивана Грозного, 30 лет писал «Историю Российскую с самых древних времен». Использовал он бесчисленное множество разных рукописей и летописей, семейные предания, сопоставляя их, словно следователь.

Тогда, как и сейчас, от «Истории» требовали побольше «лепоты». Когда в 1739 году Татищев стал показывать свою книгу в Петербурге (рассчитывая, что кто-то поможет советом), то в конечном счете (вполне по нынешним традициям) «явились некоторые с тяжким порицанием, якобы я в оной православную веру и закон опровергал».

Интересно, что у Татищева есть главка «Боязнь истинной истории», в которой он пишет «по страсти, любви или ненависти совсем не так, нежели на самом деле свершалось, описывают, а у посторонних (имеются в виду иностранные историки – прим. С.Т.) многократно правильное и достовернее бывает».

Когда Татищев в 1750 году умер, его «История» была доведена до XVI века. Однако единственный беловой экзем-

пляр книги сгорел при пожаре, «Историю» Татищева восстанавливали потом по черновикам, и свет книга увидела только в 1768 году.

Карамзин был вторым, кто пытался «поднять вес». Александр Первый дал ему чин статского советника (пятый класс) и должность историографа (пишут иногда, что такой должности не было ни до Карамзина, ни после, однако адмирал Александр Шишков в 1799 году получил должность историографа флота). Все это была охранный грамота: Александр показывал, что давать советы Карамзину будет только один человек. Возможно, отчасти поэтому Карамзин создал свою «Историю государства Российского» быстрее Татищева: начав в 1804 году, в 1816-м уже выпустил первые восемь томов (при том, надо помнить, что вокруг шла жизнь, от которой можно было потерять всякое желание писать о древностях. После известия об Аустерлице Карамзин написал в письме: «я несколько ночей не спал и теперь еще не могу привыкнуть»).

В апреле 1812 года Карамзин писал другу: «Спешу окончить Василия Темного».

Василий Темный – великий московский князь, правивший в XV веке, так что труд Карамзина был еще очень далек от завершения. Россия могла остаться и без истории вообще: летом 1812 года Карамзин остался в Москве, отправив жену с детьми в Ярославль. Один экземпляр «Истории» Карамзин отдал жене, второй сдал в Архив иностранной коллегии (там

он и сгорел). Карамзин хотел поступить в ополчение, но Ростопчин своей властью оставил его при себе.

Было ли в русских того времени больше Бога, чем в нас, нынешних? На этот вопрос можно ответить и так, и эдак и подо все найти нужное количество доводов и цитат.

Однако прежде всего надо знать, что первая полная Библия на русском языке была издана только в 1876 году. (Это, кстати, к вопросу о тысячелетнем христианстве на Руси – на самом деле еще нет и 140 лет, как русские люди стали понимать, о чем идет речь в Священном Писании). До тех пор Священные Книги писаны были на церковнославянском языке, который и не каждый из священников понимал. Кажалось бы – взять и перевести, однако, надо думать, останавливал страх: вот патриарх Никон вроде бы совсем немного хотел поправить, а кончилось расколом. Так что Библию не трогали – от греха. Дворянство читало Библию по-французски, простому же народу оставалось принимать Слово Божье в прямом смысле на веру – как священник растолкует.

В изданной в 1878 году книге Стефана Сольского «Об участии императора Александра Первого в издании Библии на русском языке» говорится: «Древнеславянский язык, на который были переведены наши священные книги, издавна уже сделался не вполне понятным народу; для правильного разумения его стало необходимым научное образова-

ние. Несмотря на это, древнеславянский текст по одной своей давности делался чем-то священным и неприкосновенным не только в глазах народа, но даже для высшего образованного класса. Отдельные попытки приспособления библейской речи к народному пониманию и даже частные опыты переложения священных книг на народное наречие были издавна известны в нашей церковной истории. Еще Максим Грек (умер в 1556 году) по просьбе Нила Курлятева переводил Псалтирь с греческого на русское наречие; затем Тихон Воронежский (умер в 1783 г.) решался перевести Псалтирь с еврейского и Новый Завет с греческого на русский язык; Амвросий Зертис-Каменский (умер в 1771 г.) вместе с Варлаамом Лящевским переводил Псалтирь с еврейского на русский язык; Мефодий Смирнов (умер в 1815 г.) составил толкование на Послание к римлянам при помощи перевода его на русский язык. Но эти частные попытки, направленные к изъяснению библейского текста, не могли равняться общему мероприятию, имевшему в виду сделать издание Библии на русском языке общеупотребительным и народным. Наряду с упомянутыми иерархами, занимавшимися переводами священных текстов, были такие, которые так размышляли: «если рассудить в тонкости, то Библия у нас и не особенно нужна. Ученый, если знает по гречески, греческую и будет читать; а ежели по латыни, то латинскую. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется».

Даже Катехизисов (своего рода «краткий курс» и одно-

временно толкование Священного Писания) не было: один, Петра Могилы, выпущенный еще в 1662 году, да и то на греческом языке, в описываемую эпоху вряд ли был широко известен; Катехизис же митрополита Филарета, первый на русском языке, издан был лишь в 1828 году. (На его примере видно, как священнослужители своими толкованиями смягчали категоричность заветов Господа. Например, сказал Господь: «Не убий», а в Катехизисе Филарета по поводу этой заповеди сказано: «Не всякое отнятие жизни есть законопреступное убийство. Не является незаконным убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то: 1) когда преступника наказывают смертью по правосудию; 2) когда убивают неприятеля на войне за Отечество»).

В результате в массе своей как простой люд, так и дворяне знали Библейские истории в самых общих чертах: слышали про судьбу Содома и Гоморры, за заковыристость поминали ассирийского царя Навуходоносора. А вот знали ли они заповеди «не убий», «не укради» – тут уже вопрос сложный.

Лев Толстой, родившийся чуть позже наполеоновской эпохи, в своей повести «Детство» чтение Библии не упоминает. Бог для маленького Льва Толстого был вполне определенным существом, однако имеющим против остальных особые сверхполномочия. «...Бывало, придешь на верх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз

лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к богу как-то странно сливались в одно чувство», – пишет Толстой.

В этом суть: Бог впитывался человеком с детства, Он был выше матери и выше отца, Он становился одной из тех ценностей, которая честным человеком не продается и не предается ни за что, никак, никогда. Присутствие Бога и его участие было неоспоримо: «Бог все видит и все знает, и на все его святая воля», – говорит маленькому Левушке в «Детстве» увольняемый учитель Карл Иванович, преподав этими словами своему ученику, быть может, самый важный урок.

Чем меньше знания, тем больше веры, и в этом нет ничего удивительного. Русские люди тех времен знали о Боге, мягко говоря, в общих чертах и недалеко ушли от средневековья: верили в чудеса, в высшее заступничество («два раза Бонапарт посылал отряд, чтобы поразведать, нет ли войска нашего и казаков в Троицкой лавре, и захватить лаврские сокровища, но посланные никак не могли достигнуть до Троицы, потому что такой туман спускался на землю, что они и нехотя должны были возвращаться назад», – вспоминала Янькова), общались с Богами запросто, толковали внутрисемейные события и события во внешнем мире как знаки. Та же Елизавета Янькова рассказывала своему внуку, что после возвращения в разрушенную французами Москву они решили прежде восстановления дома отстроить давно задуманный придел в церкви: «Мы собирались опять строиться

в Москве, и хотелось нам освятить один из приделов нашей церкви во имя святителя Димитрия. (...) Неприятель помещал, а теперь можно было и приняться. У нас даже было на уме, что Господь нас за то и наказал, что мы себе дом выстроили, а церковь все еще стояла недоделанная».

В опубликованном в 1831 году романе Михаила Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» старик Иван Архипович, глядя на то, как французы вступают в Москву, говорит: «Да, батюшка, гнев божий!.. Мы все твердили, что господь долготерпелив и многомилостив, а никто не думал, что он же и правосуден; грешили да грешили – вот и дождались, что нехотя придется каяться». А встреченный Зарецким уже за Москвой студент риторики в Перервинской семинарии говорит: «Наполеон, сей новый Аттила, есть истинно бич небесный». Русский человек воспринимал себя в тот момент как любимый ребенок, которого наказывает любящий отец: понимая, что в конце концов все будет хорошо – отец простит. Жизнь для православного человека была довольно проста: если беды сыплются одна за другой, разберись – что не так в твоей жизни? Нагрешил – покайся и искупи. Если вслед за искуплением все равно следовало то, что можно было считать карой, то, значит, Господь решил, что либо покаяние было неискренне, либо искупление – недостаточно. Искупить вину человек старался по большей части добрыми делами. Сама по себе привычка всех к добрым делам делала людей того времени иными и одновременно создавала опре-

деленный круговорот событий, при котором плохое всегда сменялось хорошим, где человек спешил делать добро, рассматривая как повод для этого практически любое событие своей жизни.

Жизнь человеческая в ту эпоху была нанизана на веру, как на нитку. Дети простого народа со времен Екатерины получали образование в приходских школах, где непосредственно образование заключалось в общем-то в науке читать, писать и освоении первых действий арифметики, а все остальное было воспитание: Закон Божий, нравоучение (был такой предмет), а еще детям читали книгу «О должностях человека и гражданина», основной идеей которой была богоустановленность существующих общественных отношений, из чего следовала необходимость повиноваться монарху и законам даже в том случае, если человек в них сомневался. (Этот выполненный в 1783 году под личным присмотром Екатерины перевод книги австрийского педагога Иоганна Фельбигера был в русских школах едва ли не главным учебником до 1819 года).

При этом надо понимать, что даже такое образование не было поголовным – в нем просто не видели особой нужды, и не только крестьяне, но и люди иных классов (среди русских офицеров 12-го года около половины не знали грамоте). Закон Божий в его крайне примитивном виде был, кроме житейских навыков, едва ли не единственным знанием – он объяснял и мир, и смысл жизни.

Вместе с тем в среде русского дворянства был, впрочем, уже и некоторый скепсис: Владлен Сироткин в своей книге «Наполеон и Россия» приводит воспоминания Сергея Глинки, заставшего Николая Новосильцева (один из близких друзей царя Александра) за чтением «Апокалипсиса». Глинка, прежде не замечавший за Новосильцевым особой набожностью, удивился и спросил: «Зачем ты это делаешь?». Тот отвечал: «Да вот хотим произвести Наполеона в Антихристы!». Наполеона в России, и правда, дважды объявляли Антихристом: в первый раз в 1806 году, после чего теплое тильзитское общение Александра с Наполеоном выглядело особенно странно. (Другой вопрос, что в те времена телевидения не было, и крайне мало кто видел, как именно проходило это братание, так что для народа и это было как-то трогательно объяснено).

Настоящие попытки выбросить из себя Бога начались у русского человека со Льва Толстого. В «Исповеди» он пишет: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во всё время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили».

Однако еще ко времени детства Толстого атеизм стал модой, фокусом, как курить за углом в советской школе: «когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году – *прим. С.Т.*). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное», – пишет Толстой.

Главная мысль «Войны и мира» состоит как раз в том, чтобы доказать, что не Бог управляет жизнью человеческой, найти свое объяснение мира, причин и следствий событий. Возможно, и Наполеона Толстой не любил как раз пото-

му, что Наполеон сам по себе являлся подтверждением существования Бога: без божественного вмешательства такая судьба невозможна. Урок – не испытывай судьбу без конца – был понятен. Но Толстой явно не был согласен с этим уроком.

Вполне вероятно, Толстой хотел дать своим современникам новый смысл взамен того, с которым прожили жизни их отцы и деды. Толстой закончил «Войну и мир» в 37 лет – отсюда и молодежный задор, и желание объяснить мир по-своему, и полная уверенность в том, что до него никто не додумался до истины. («Я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости», – признавался Толстой). Это было такое восстание Прометея в четырех томах. Причем, по усилиям, какие делает Толстой на корчевание Бога из русской жизни, понятно, как много места Бог в этой жизни занимал.

Но какова же его, толстовская, идеология? А вот: «В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей». Пить, есть, получать все роды удовольствий – вот для чего по Толстому рожден человек. В этом он в общем-то оправдывал еще и самого себя (Толстой в молодости любил жить – пил, играл в карты, а уж женщины «беспокоили» его почти до самой смерти).

Впрочем, пока еще это у Толстого дискуссия – в другом месте тому же Пьеру приходит видение: «Жизнь есть все.

Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий». «Каратаев!», – вспомнилось Пьеру. И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. – Вот жизнь, – сказал старичок учитель. «Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде. В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает...».

При этом известный по советскому курсу литературы представитель народа Платон Каратаев о Боге и говорит, и думает мало. Молится он так: «Господи Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос – по-

милуй и спаси нас!». Толстой, надо думать, и в самом деле где-то слышал эту молитву – вряд ли ведь придумал. Немногословен Каратаев в своем общении с Богом – но ведь чтобы понимать показания компаса и руководствоваться ими, не обязательно полностью знать курс навигации. Главное в Каратаеве – отношение к людям: в нем столько добра, что он как спичка зажигает добро в других. Француз, потребовавший себе оставшийся от пошива рубашки кусок материи, на который Каратаев уже строил планы, сначала вытребовал себе это полотно, а потом... отдал Каратаеву. «Вот поди ты, – сказал Каратаев, покачивая головой. – Говорят, нехристи, а тоже душа есть. (...) Сам голый, а вот отдал же».

(Впрочем, не тот ли француз потом, при отступлении, пристрелит Каратаева, когда он, обессилив, не сможет при подъеме встать в строй?).

Марк Алданов в работе «Загадка Толстого» пишет: «Знаменитый физик Герц, изучая электромагнитную теорию света, созданную гением Кларка Максвелла, испытывал такое чувство, будто в математических формулах есть собственная жизнь. «Они умнее нас, – писал Герц. – Умнее даже, чем их автор». Нечто подобное испытываешь при чтении художественных произведений Толстого. (...) Эти дивные книги живут самостоятельной жизнью, независимой от того, что в них вложил или желал вложить автор (...). И очень часто скользящие в них настроения странным блеском отсвечивают на том догматическом здании, которое тридцать лет так

упорно воздвигал Л.Н. Толстой».

«Станным блеском» отсвечивает на идею романа смерть Андрея Болконского. Если Бог не участвует в судьбах человеческих, то отчего же вдруг так спокойно стало раненому князю за несколько дней до смерти, что же тогда открылось ему? Почему вдруг не жаль стало ему жизни?

«Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения. «Да, им это должно казаться жалко! – подумал он – А как это просто!» «Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал».

Вообще «Война и мир» – это длинное доказательство теоремы, ответ которой у Толстого уже был. Он старательно пытался подогнать под него все иксы и игреки.

Однако они не подгонялись, и к концу доказательства Толстой понял, что ничего не доказал – это отлично видно из второй части эпилога, где Толстой многословием пытается скрыть, что своего объяснения мира у него нет. (Впрочем, мало кто уличил Толстого в этом, так как еще Яков Лурье в своей книге «После Толстого» пишет: «вторую часть Эпилога, выходящую за рамки сюжета, читают немногие»).

Толстой пишет: «Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой – жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом; и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа. На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали: на первый вопрос – признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека; и на второй вопрос – признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели. Для древних вопросы эти разрешались верою в непосред-

ственное участие божества в делах человечества. Новая история в теории своей отвергла оба эти положения. Казалось бы, что, отвергнув верования древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике».

Проще говоря: древние верили, что все по воле Божьей и что власть от Бога, а современники Толстого эти идеи на словах отвергли, но на деле остались им верны. Толстой в том и видел свою задачу: отыскать, кто же на деле управляет жизнью человеческой: «Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории».

При этом идею власти как движущей силы истории Толстой отрицает. Потом у него идет подряд несколько страниц размышлений, время от времени просто очень смешных, а иногда обескураживающих в желании Толстого видеть то, что ему хочется видеть, например: «Наполеон не мог приказывать поход на Россию и никогда не приказывал его».

С мыслью о судьбе и предопределении, которые являются несомненными опорами идеи божественного промысла в истории человечества в целом и каждого человека в отдельности, Толстой борется так: «Вы говорите: я не свободен. А я

поднял и опустил руку. Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы».

Налицо явное желание хоть в чем-то уличить если не Бога, то хотя бы Учение, и при этом – налицо полное отсутствие аргументов по причине скорее всего полного незнакомства с предметом критики. Библия ведь дает немало поводов скептически настроенному уму.

Вот в 1901 году, написав после отлучения от церкви «Ответ Синоду», Толстой пишет о православии куда более конкретно, хотя и все с тем же настроением: открыть в общепризнанном СВОЮ истину. «То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, совершенно справедливо. Бога же – духа, бога – любовь, единого бога – начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении», – пишет Толстой. И дальше он начинает именно «ловить» Церковь на деталях: «Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если

когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах – учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквях, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдуманно врагами Христа».

Кто мешал этим же попрекать Церковь еще при написании «Войны и мира», в той же 2-й части эпилога? Ответ скорее всего кроется в том, что «Война и мир» увидела свет в 1865–1868 годах, а первая полная Библия на русском языке был издана только в 1876 году и до этого Толстой Библию, похоже, просто не читал.

Отвергнув Бога и его учение, Толстой попытался придумать свое. В «Исповеди» он пишет: «Вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование». И тут же признает: «Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать». Почти сразу совершенствование завело Толстого не туда, куда он хотел бы попасть: «очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее

других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других». Надо полагать, Толстой отлично понимал, что желающих быть славнее, важнее и богаче других и без него пруд пруди, так что в этом он Америку не открыл.

Он вдруг понял, что если Бога нет, то жизнь человеческая не имеет смысла. «Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние..., – писал Толстой. – Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: «Зачем? Ну, а потом?»... (...) Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж?!..» И я ничего и ничего не мог ответить». Толстого охватывало «чувство страха, сирот-

ливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь...».

Страх смерти – вот что выбивало у Толстого почву из-под ног. Плеханов в работе «Карл Маркс и Лев Толстой» писал: «Граф Толстой усердно доказывал, что смерть вовсе не страшна. Но он делал это единственно потому, что нестерпимо боялся ее». Страх смерти, почти неизвестный людям наполеоновского времени, твердо убежденным, что, например, от редута Раевского они на своих лошадях въедут прямо на небеса, – это было именно то, что получал человек, «освободившись» от Бога. Толстой не хотел умирать, а вечную жизнь обещал только Господь Бог. И тогда Толстой встал на колени и пополз к Престолу Его...

В книге «Спелые колосья», где собраны записанные за Толстым его мысли и фразы, есть такая: «Важно то, чтобы признать бога хозяином и знать, чего он от меня требует, а что он сам такое и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара. Я работник, он хозяин». Это – полная капитуляция. Плеханов написал: «Толстой считает религию первым условием действительного счастья людей».

Вся девятая глава «Исповеди» – это многословное обоснование капитуляции перед идеей Бога. Толстому неудобно было сдаться просто так, пасть на колени перед образами, и он имитирует мыслительную деятельность, чтобы потом на усмешки можно было что-то предъявить. «Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал се-

бя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога. (...) Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу ещё? – вскрикнул во мне голос. – Так вот Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь. «Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня». (...) Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым».

При всем своем величии Толстой был привязан к обществу больше, чем думал сам: это ведь для общества были придуманы все эти объяснения и доказательства – Богу они не нужны. Но там, где нужны доказательства, нет веры. Марк Алданов цитирует Байрона: «Мысль – ржавчина жизни». В случае с Толстым мысль разъела его жизнь, проделав в его новообретенном смысле бытия большую дырку.

«Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость..., – пишет Толстой. – Из тех положений веры,

из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде».

Даже уверовав, он постоянно все анализировал: «почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к Богу, теряя совершенно всякую возможность веры». Толстого не устраивало то, что православие считает все остальные религии ересью («почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии?»), а потом он и вовсе понял, что на земле настоящей веры нет и быть не может («В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся»).

Уверовав в одиннадцатой главе «Исповеди», Толстой уже в четырнадцатой разуверился снова. Едва построенный корабль веры тут же разбился о скалы – возможно, именно потому что веры никакой не было. Он запустил себя по второму кругу: «И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина».

Правда, Толстой стал осторожен: «Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать». Дальнейшие слова являются своего рода доносом – Толстой хочет объяснить Господу Богу, что на земле у Него плохие слуги: «Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил (...), но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. (...) Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь, и истина переданы тем, что называют церковью». Толстой решил воевать не с Богом, а со слугами Его, вполне вероятно, надеясь получить от Него за это даже какую-то особую награду.

На самом деле «Исповедь» лучше объясняет человека XIX века, чем «Война и мир», но кто бы вставил в советские учебники книгу о том, что главное для человека Вера? «Исповедь» потому и не изучали в советской школе, что слишком велик в ней религиозный заряд. Начав с борьбы с Богом, Толстой закончил борьбой с Церковью – а это, согласитесь, не атеизм.

(При этом Толстой не замечал, вернее, не понимал, что иногда, если не всегда, Бог диктует ему – поэтому те места, где Толстой пытается думать, так радикально скучны в сравнении с теми, где он просто описывает то, что видит перед своим мысленным взором (так Анна Ахматова говорила, что она просто записывает то, что ей диктуют). Например, в «Смерти Ивана Ильича» Толстой вдруг пишет «Вместо смерти был свет». Вместо *ничего*, небытия Иван Ильич вдруг увидел свет и это примирило его. А до этого «он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то». Толстой описал клиническую смерть точно так же, как это описано в книге американского психотерапевта Раймонда Моуди «Жизнь после смерти», где впервые были собраны воспоминания о смерти тех, кто выбрался потом с того света. Но книга Моуди вышла в 1976 году – откуда и как Толстой в 1882 году мог *знать* все и про свет, и про тоннель, по которому несется вырвавшаяся из тела душа? Придумал? Но когда Толстой пытается именно придумать, у него не придумывается, он именно *знал*, но при этом, видимо, и сам не заметил своего знания).

«Исповедь» была написана Толстым в 1879 году, переработана в 1881 году, а завершена в 1882-м. То есть, когда Толстой ставил в ней точку, он уже был почти человек XX века (особенно если учитывать, что он со своими идеями успевал сделать несколько кругов там, где девять из десяти едва отходили от старта). И все равно он не нашел иного смысла,

чем Бог. Что же говорить о людях, живших за 50, 70, а то и сто лет до него? Для них Бог был реальным действующим лицом почти каждого события.

При всем том считать, что люди того времени были лучше, чем мы, не стоит: как всегда, были всякие. Назначенный в 1803 году Сибирский генерал-губернатор Селифонтов в подражание августейшим особам имел фаворитку (жену свою он оставил в Тобольске).

Более того, фаворитку имел и его сын! Две эти женщины и управляли Сибирью до 1806 года. Потом Селифонтов был с должности уволен с воспрещением въезда в столицы. По тем временам это был серьезный удар, дальше – только повесить: ведь ссылать Селифонтова было в общем-то некуда – разве из Сибири в Сибирь?

Но сменивший Селифонтова тайный советник Иван Пестель (кстати, отец будущего декабриста Павла Пестеля) оказался, как часто бывает, еще хуже: он начал с уничтожения жалоб и всякой возможности жаловаться, а затем просто уехал в Петербург, оставив распоряжаться громадной территорией Трескина, бывшего почтового чиновника, при Пестеле сразу ставшего Иркутским губернатором. Сибирь была оцеплена таможнями, на которых в первую очередь просматривали письма – нет ли жалоб на начальство? Да царю в эпоху наполеоновских войн было и не до Сибири вовсе. Жаловаться было на что: Трескин, например, не пускал в Иркутск крестьян с хлебом, принуждая жителей покупать хлеб в ка-

зенных магазинах. (Из-за злоупотреблений с хлебом в Туруханском крае в 1810–1811 годах был голод, при котором доходило до людоедства). Крестьянских дочерей принудительно выдавали замуж за поселенцев. Пожертвованные на благотворительность деньги разворовывались – возможно, «отщипнули» и от средств, собранных в 1812 году, когда сибирским губерниям разрешено было вместо рекрут жертвовать деньги, по 2 тысячи рублей за человека. Отдельные претензии были по поводу продажи «дурного вина».

Бесправен был не только простой народ: в Енисейске городничий катался по городу на чиновниках, которые посмели подать просьбу сменить его. Только в 1818 году иркутский мещанин Салматов, разоренный местной администрацией, был снаряжен купцами с жалобой в Петербург. Может, Салматову удалось как-то особо рассказать царю о жизни в Сибири, или у Александра, восстанавливавшего европейскую Россию после наполеоновского нашествия, наконец нашлось время для окраин империи – 22 марта 1819 года Пестель был уволен с должности Сибирского генерал-губернатора.

К тому времени жизнь в Сибири была такова, что назначенный новым Сибирским генерал-губернатором Михаил Сперанский писал из Томска: «Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, то здесь оставалось бы уже всех повесить». В Иркутске, дабы предотвратить жалобы, исправник (по нынешнему – начальник УВД) Лоскутов собрал в уезде всю бу-

магу и чернила. Ужас людей перед этими «царьками» был таков, что когда Сперанский приказал арестовать Лоскутова, бывшие при этом крестьяне упали на колени и, хватая Сперанского за руки, кричали: «Батюшка! Да ведь это Лоскутов!».. У главного иркутского «мента» было описано имущества на 138 тысяч 243 рубля – при том, что серебру и мехам оценка не делалась.

И ведь Лоскутов, Пестель, Трескин и многие тысячи других жили в те же времена, что и Багратион, Милорадович, Денис Давыдов... Надо полагать, большая часть денег была «нажита» Лоскутовым как раз когда другие жертвовали для войны с Наполеоном последнее, как, например, мастеровой Белкин, принесший в конце августа 1812 года в Барнаульскую заводскую контору пять рублей серебром – в те времена на них можно было купить корову. Чиновник, знавший, что Белкин имеет большую семью и живет в постоянной нужде, спросил, откуда такая сумма. Мастеровой на это ответил: «Эти деньги оставил мне отец, при смерти своей завещая, чтобы я берег их на черный день. Слыша, в каком положении наша святая Русь, я рассудил, что для всех нас не может быть дней, чернее нынешних. И потому, исполняя последнее желание родителя моего, прошу принять мои деньги...».

Лермонтов написал о России: «страна рабов, страна господ». На самом деле господин в России был только один – государь император. Все остальные были рабами, с той лишь разницей, что одни жили в хижинах, другие – в дворцах.

Даже мягкий нравом Александр Первый иногда устраивал показательные порки. В 1809 году князь Андрей Горчаков написал письмо одному из австрийских генералов эрцгерцогу Фердинанду: поздравил с победой при Ваграме (видимо, первые известия представляли эту битву как победу австрийцев), выразил желание, чтобы российские и австрийские «храбрые войска были соединены на поле чести», и заявил, что «с нетерпением ожидает времени, когда мог бы присоединиться со своею дивизией к войскам эрцгерцога». Французы перехватили письмо. На тот момент после Тильзита Россия формально была союзницей Франции, и солидаризоваться с австрийцами надо было как-то аккуратнее. Горчакову досталось: по высочайшему повелению он был предан военному суду, после чего велено было «отставить его от всех служб, никогда в оные не принимать и воспретить въезд в обе столицы». 29 сентября 1809 года Горчаков был навсегда уволен со службы. (Впрочем, слово «навсегда» в те времена особой категоричности не имело: 1 июля 1812 года,

сразу после начала войны с Наполеоном, Горчаков был принят на службу).

Высшие классы были несвободны, а все их богатство и внешнее могущество, наверное, только усиливало это ощущение несвободы. Неспроста Семен Воронцов, русский посланник в Англии, не торопился домой: в Англии он был большой русский вельможа, а в России при всех его несметных миллионах — никто.

В девятнадцатом веке цари обращались с дворянами так, как за сто лет до этого Петр Великий обращался со своими шутами и шутихами. Павел Чичагов, будущий адмирал, известный в истории наполеоновских войн своим злосчастным опозданием к Березине, в 1797 году подал прошение об отъезде в Англию, где намерен был жениться на Элизабет Проби (он влюбился в нее в Лондоне, где год изучал морскую науку). Император Павел дал ответ: «в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию».

За Чичагова вступился было его давний друг, тот самый граф Семен Романович Воронцов: по его просьбе англичане заявили Павлу Первому, что представителем русского флота в союзных военно-морских силах хотели бы видеть именно Чичагова. К тому же Воронцов расписывал своим друзьям в России связи невесты — она состояла в родстве с лордом Корисфортом, жена которого была сестрой лорда Гринвилла, входившего в правительство Уильяма Питта-Младшего. Павел, до которого слухи обо всех этих выгодах неминуемо до-

ходили, уже согласился было на брак, хоть и с условиями (довольно приятными – Чичагову надлежало после заключения брака немедленно вернуться из Англии и вступить в должность флагмана Балтийского флота), но тут старый недоброжелатель адмирала Кушалева, стоявший тогда во главе российского флота, заявил императору, что Чичагов хочет перейти на сторону англичан. Адмирал тотчас попал в Петропавловскую крепость, где едва не умер от горячки. За него вступился генерал-губернатор Петербурга граф фон-дер-Паллен (будущий организатор убийства Павла Первого). Чичагов был освобожден, восстановлен в звании и всех правах и в 1800 году смог наконец выехать к своей невесте.

Впрочем, по настроению Павел Первый мог быть и романтиком. Петр Вяземский описывал случай: «Во время Суворовского похода в Италию государь в присутствии фрейлины княжны Лопухиной читает вслух реляцию, только что полученную с театра войны. В сей реляции упоминалось между прочим, что князь Гагарин (Павел Гаврилович) ранен; при этих словах император замечает, что княжна Лопухина побледнела и совершенно изменилась в лице». Павел понял, что это любовь. Он послал Суворову повеление о том, чтобы Гагарин был отправлен курьером в Петербург. Курьер приезжает. «Государь принимает его в кабинете своем, приказывает ему освободиться от шляпы, сажает и расспрашивает его о военных действиях, – пишет Вяземский. – По окончании аудиенции Гагарин идет за шляпой своей и на преж-

нем месте находит генерал-адъютантскую шляпу. Разумеется, он не берет ее и продолжает искать своей. «Что вы, сударь, там ищете?» – спрашивает государь. «Шляпы моей». – «Да вот ваша шляпа», – говорит он, указывая на ту, которой, по приказанию государя, была заменена прежняя. Таким замысловатым образом князь Гагарин узнал, что он пожалован в генерал-адъютанты. Вскоре затем была помолвка княжны и князя, а потом и свадьба их».

В другой раз Павел «устроил счастье» Багратиона (он как раз после Швейцарского и Итальянского походов вошел в большую моду). Узнав, что князю нравится фрейлина графиня Екатерина Скавронская, император 2 сентября 1800 года, по окончании маневров в Гатчине, вдруг объявил, что намерен присутствовать на обряде венчания князя и графини. Багратион был ошарашен, но все же, надо думать, доволен. А вот 17-летняя графиня, внучатая племянница Потемкина и наследница громадного отцовского состояния, была, говоря по-нынешнему, «в шоке». Но перечить императору не посмела – понимала, что тогда следующего жениха ей подыскали бы уже среди якутов.

(Дурную привычку устраивать чужое счастье на свой лад перенял у царственных особ и Наполеон. Зная о многолетней, еще с Итальянской кампании, влюбленности маршала Бертье в замужнюю маркизу Джузеппину де Висконти (невероятной, пишут, красоты!), Наполеон тем не менее в 1808 году женил маршала на принцессе Баварской Марии Елиза-

вете Амалии Франсуазе. Шутка Наполеона была куда злее шутки Павла Первого: «невеста» Бертье была по тем временам глубоко немолода – 24 года! – да еще и не хороша собой. К тому же спустя совсем немного времени после этой свадьбы муж маркизы де Висконти умер. Бертье, впрочем, винил себя: «Если бы я был немного более постоянен, мадам Висконти была бы моей женой...», – сказал он Наполеону).

Если даже мужчины не принадлежали себе, то женщины и вовсе были почти предмет, разменная монета. Когда в январе 1798 года Федор Ростопчин, будущий московский военный губернатор, не поладил с «немецкой партией» императрицы Марии Федоровны и фаворитки императора Елизаветы Нелидовой, из-за чего Ростопчину пришлось уйти в отставку, для решения проблемы пришлось привлечь женщину. В союзе с обер-штабмейстером Иваном Кутайсовым (отцом будущего героя 1812 года генерала Александра Кутайсова) Ростопчин сумел сделать новой фавориткой (проще говоря – подложить в постель) императора «своего человека» – 17-летнюю Анну Лопухину. И уже в августе 1798 года Ростопчин был назначен вице-канцлером и получил титул графа (хотя и не слишком уважаемый среди русской знати).

В Европе масштаб женского влияния был иной – там женщины порой вершили судьбы континента. В июле 1794 года 19-летняя маркиза де Фонтене, предпочитавшая, впрочем, чтобы в это беспокойное время ее звали Тереза Кабаррю, отправила из парижской тюрьмы Лафорс записку. Марк Алда-

нов приводит ее текст так: «Меня убивают завтра. Неужели вы трус?». В мемуарах барона Уврара (наполеоновский министр финансов) текст больше: «От меня только что ушел полицейский чиновник: он приходил, чтобы сообщить мне, что завтра я пойду на суд, то есть на эшафот. Это мало похоже на сон, который я видела этой ночью: Робеспьера больше нет, и тюрьмы открыты... Но из-за вашей беспримерной трусости во Франции нескоро найдется человек, способный воплотить его в явь». Адресат, 27-летний любовник Терезы Жан-Ламбер Тальен, до той поры в общем-то просто плыл по волнам революции, хоть и не на последних должностях. Но страшная записка заставила его пробиться к рулю.

27 июля (9 термидора) Тальен явился в Конвент и, увидев Робеспьера, начал говорить. Речь была такая, что взревело даже депутатское «болото». «Я вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь!» – кричал Тальен. Он вдруг перевернул все и всех. Робеспьер был низвергнут. Был ли это заговор политиков, или просто люди спасали свои жизни? Так или иначе, но взорвано все было одной искрой любви.

Образованность женщин в России на переломе эпох (рубеж XVIII–XIX веков) была невелика. Жизнь женщины была предписана требованиями общества: рождение, взросление, замужество, рождение детей.

Роли понятны (девочка, девушка, женщина, жена, мать, бабушка) и играют по общепринятым шаблонам, главный из которых послушание: сначала родителям, потом – мужу. Женщине отводились функции: украшать общество, рожать детей, помогать мужу «вести дом». Образованность здесь была скорее вредна, чем полезна.

Дочери дворян и знати в большинстве своем в лучшем случае умели читать, писать и считать. Наиболее основательно изучался французский – это был язык приличного общества. Другим «предметом» были манеры: барышень обучали поведению с кавалерами, поведению за столом, поддержанию беседы, как сесть, как встать, какими словами говорить со старшими и т. п. Все это в буквальном смысле разыгрывалось по ролям. Показательно, что Елизавета Янькова (урожденная Римская-Корсакова), московская дворянка, жившая на переломе эпох (1768–1861) в своих «Рассказах бабушки» говорит о современницах «она получила хорошее воспитание», а вот об образовании упоминает крайне нечасто (описывая свое детство, она не упоминает о привычных нам

арифметике или русском языке, зато пишет, как отец выбрал ее с братом за то, что они посмели посмеяться над кем-то из гостей).

Интересно также, что Янькова в своих рассказах ни разу не поминает, какие, например, она читала книги. Объяснение простое – она их не читала. Юрий Лотман в «Беседах о русской культуре» пишет: «Еще в 1770-е гг. на чтение книг, в особенности романов, часто смотрели как на занятие опасное и для женщины не совсем приличное. А.Е. Лабзину – уже замужнюю женщину (ей, правда, было неполных 15 лет!), отправляя жить в чужую семью, наставляли: «Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока не просмотрит мать твоя (имеется в виду свекровь. – Ю.Л.). И когда уж она тебе посоветует, тогда безопасно можешь пользоваться».

Интересно, что упомянутая Лотманом Лабзина затем жила в семье поэта Хераскова и, слыша слово «роман», очень долго думала, что это имя какого-то молодого человека, удивляясь при этом, почему о нем говорят, а его самого нигде не видно.

В 1764 году в Санкт-Петербурге при Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре открылось «Воспитательное общество благородных девиц», ставшее впоследствии Смольным институтом. Хотя предметы изучались несложные (словесность, история, география, иностранные языки, музыка, танцы, рисование, светские манеры), но курс

обучения растягивался на 12 лет. Из этого ясно, что Смольный был придуман Екатериной не столько для образования, сколько опять же для воспитания некоей женской элиты – прежде всего за счет строгой изоляции от мира и от среды. Девушек воспитывали примерно по той же системе, по какой Екатерина делала из Александра государя, разве что отнимали у родителей не сразу после рождения, а в пять-шесть-семь-восемь лет. «В то время в институтах барышень держали только что не назаперти и так строго, что, вышедши оттуда, они были всегда престранные, презастенчивые и все было им в диковинку, потому что ничего не видывали...», – рассказывала Елизавета Янькова. В том же духе высказывается и мемуарист Николай Греч: «Воспитанницы первых выпусков Смольного монастыря, набитые ученостью, вовсе не знали света и забавляли публику своими наивностями, спрашивая, например: где то дерево, на котором растет белый хлеб?».

Однако само государство было устроено так, что последующая жизнь женской элиты мало чем отличалась от жизни просто женщин. Глафира Алымова, «смолянка» первого набора, которую сама Екатерина звала «Алимушка», окончившая институт первой (тогда тоже были некие «рейтинги») и получившая кроме золотой медали еще и золотой вензель императрицы, зачисленная во фрейлины, оказалась втянутой в историю соперничества между стариком-поклонником и молодым мужем – попасть в такой переплет она могла и

без Смольного.

В Алымову влюбился куратор Смольного института Иван Бецкой, которому тогда было за семьдесят. Возможно, стесняясь своей страсти, он хотел, чтобы вместо нее все вокруг видели нечто иное. «Он перед светом удочерил меня», – писала потом в воспоминаниях Алымова. После выпуска Бецкой увез Алымову в свой дом, но так и не решился стать ее мужем, хотя, несмотря на «удочерение», ничто не мешало ему просить у матери руки Глафиры. Почему граф не делал этого? Возможно, он, встретив редкий цветок, внушил себе слишком большую осторожность в обращении с ним. Может, он ждал от Глафиры какого-то первого шага, хоть какого-то изъясления чувств, но девушка по чистоте и наивности – вспомните слова Яньковой о «презастенчивых» институтах, которые «ничего не видывали» – сама не догадывалась об этом, а никто не подсказал. «Никто не смел открыть мне его намерений, а они были так ясны, что когда я припоминаю его поведение, то удивляюсь своей глупости, – писала потом Алымова. – Несчастный старец, душа моя принадлежала тебе; одно слово, и я была бы твоею на всю жизнь».

Пока Бецкой трясся над цветком, его сорвали другие: пишут, что цесаревич Павел Петрович был удачливее старика и будто бы именно из-за этого отношения Алымовой и жены Павла, великой княгини Марии Федоровны, к которой Алымова была назначена компаньонкой, расстроились. В 1777 году Глафира Алымова вышла замуж за Алексея Ржевского,

который был старше ее на 20 лет. Екатерина благословила «Алимушку» на этот брак, так что Бецкой не в силах был его расстроить, однако буквально до самого последнего момента подбивал саму Алымову на разрыв со Ржевским: «Перед алтарем, будучи посаженным отцом, он представлял мне примеры замужеств, расхोдившихся во время самого обряда венчания, и подстрекал меня поступить таким же образом», — пишет Алымова. После венчания Ржевские уехали жить в Москву, а Бецкого разбил паралич (он однако прожил еще до 1799 года). При Павле Ржевские попали в опалу, жили, делая долги. Ржевский умер. Воцарение Александра спасло Алымову, как многих. Второй ее брак был таков, что даже сегодня можно писать роман или снимать фильм: в 40 лет вышла замуж за 20-летнего учителя французского языка из Савойи, да еще и выхлопотала ему у императора дворянство, а потом камергерский чин и хорошую должность по министерству иностранных дел.

При всем том Алымова, и правда, была неким образцом: когда Радищева отправили в Сибирь, она помогала ему посылками и заботилась о детях Радищева, хотя и своих у нее было шестеро (пятеро — от Ржевского и приемная дочь Варвара Зыбина). Впрочем, это опять-таки плоды воспитания, а не образования: в те времена учителя чаще будили душу и сердце, чем ум. Результаты могли быть разные: однокашница Алымовой по первому выпуску смолянок княжна Евдокия Вяземская, казалось, самым происхождением предназначен-

ная для света, придворного блеска и игры людьми, пожалованная во фрейлины, водившая знакомство с Александром Суворовым и князем Юрием Долгоруким, вдруг бежала от двора, инсценировав свою гибель в реке.

Пишут, будто ей прискучила «сонная и однообразная жизнь при дворе». На нынешний обывательский взгляд в новой ее жизни разнообразие было на любителя: после долгих скитаний по монастырям и храмам Руси в 1806 году, когда Вяземской было около 50 лет, она в Москве пришла к митрополиту Платону и рассказала ему свою историю. Митрополит, выслушав ее, благословил на подвиг юродства и под именем «дуры Евфросиньи» (в монахини она так и не постриглась) отправил в Серпуховский Владычный монастырь. Там она жила в маленькой избушке, ее одиночество скрашивали только куры, кошки, собаки, жившие в той же хате. Крепкий дух от всего этого семейства (Евфросинья никогда не прибиралась в доме, не выметала даже остатки пищи) удивлял даже монахинь, которым Евфросинья поясняла, что «запах этот мне приятен, он заменяет духи, которыми я пользовалась при дворе». Спала она на полу вместе с животинкой, говоря: «Я хуже собак». Даже зимой ходила босиком. Чтобы испытать себя покрепче, она топила печь летом, в жару, а зимой, в мороз, жила в холоде.

Биографы пишут, что в 1812 году в этих краях появились французы. Добравшись до жилища Евфросиньи, они стали смеяться над ней – над одеждой, над запахом, над домом. Ка-

ково же было их потрясение, когда едва похожее на женщину существо (Евфросинья коротко стриглась, а одевалась в разную ветошь) отвечало им на чистом французском языке!

В 1845 году, не поладив с новой настоятельницей монастыря, Евфросинья перебралась в село Колюпаново (в нынешней Тульской области). Почитавшая старицу местная помещица Наталья Протопопова построила для нее домик, но Евфросинья в дом загнала свою корову, а жить стала в помещении для дворни. В другом построенном для нее доме, при Мышегском чугунолитейном заводе, из всей «мебели» старица Евфросинья держала один только гроб – в нем она отдыхала. В глубокой старости открылся у нее целительский дар, причем, спасала она не только отдельных людей – будто бы именно благодаря ее молитвам холера, бушевавшая вокруг в 1848 году, обошла Колюпаново стороной.

Когда Евфросинье было за девяносто, она своими руками вырыла колодец, а над ним устроили купальню: «она велела больным купаться в той купальне, и больные исцелялись», – пишет Анастасия Цветаева, почитавшая блаженную Евфросинью.

3 июля 1855 года Евфросинья умерла. За три недели до этого она увидела во сне ангелов, сказавших: «Евфросиньюшка, пора тебе к нам...». Узнав об этом, люди шли к Евфросинье прощаться со всей округи. Похоронили ее в Казанской церкви села Колюпаново, в монашеском, как она завещала, одеянии, не полагавшемся ей при жизни. За что она

так наказывала себя? Это так и осталось тайной. А может, и не наказывала вовсе? Возможно, княжна Евдокия Вяземская, уйдя из мира, пыталась если не стать самой себе хозяйкой, то хотя бы получить над собой только одного хозяина – Бога.

Но менявшийся мир менял и женщин: если для большинства современниц родившейся в 1765 году Елизаветы Яньковой «чувствительная» сторона жизни не существовала (описывая, как к ней сватался будущий ее муж, Янькова говорит: «не то чтоб я в него была влюблена», прибавляя «как это срамницы-барышни теперь говорят»), то уже следующее поколение только чувствами и жило.

«Срамницы-барышни» – это дочери сентиментализма, занесенного в Россию в конце XVIII века с переводными книгами из Европы. С него началась гибель привычного Яньковой и ее подругам мира – Наполеон стал лишь одним из знаков этой гибели.

Нельзя сказать, чтобы Россия сопротивлялась новой моде. Первым из русских ее разглядел Николай Карамзин, написавший в 1797–1801 годах «Письма русского путешественника», которые, если бы выкинуть из них лирические отступления и всхлипы вроде: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!» и т. п., были бы втрое короче. Но именно ради всхлипов «Письма» и были написаны: «а кто в описании путешествий ищет одних статистических и географиче-

ских сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию», – такую отповедь поместил Крамзин в предисловии ко второму изданию.

Родившийся в литературе сентиментализм затем овладел всей жизнью человека, он определял образ мысли, манеры поведения и даже внешний облик людей того времени и прежде всего женщин (мужчины в большинстве своем служили в армии, а быть сентиментальным кирасиром нелегко, хотя, например, пишут, что маршал Ней любил играть на флейте разные трогательные вещи). Так как положено было жить чувствами, а вид иметь меланхолический и томный (проще говоря – больной), то барышни прятались от солнца и ели так мало, что в обмороки падали, не прикладывая к этому каких-то специальных усилий. Плакать положено было от любой мелочи. В литературе и театре сентиментализм означал минимум действия при максимуме переживаний: герои размышляют, терзаются, изводят себя и публику предположениями и предчувствиями. Таковы все герои Крамзина, да и в «Сожженной Москве» Данилевского, а тем более в «Рославлеве» Загоскина главные герои терзаются в лучших традициях Вертера. Сентиментализм был во многом эпохой чувств и слов, а вторгшийся в нее Наполеон провозгласил эпоху дел, и уже этим был для людей своего времени и чужим, и одновременно притягательным – как Кинг-Конг.

Пишут, что одним из свершений революции было то, что она сбросила с женщин оковы корсета. Вернее было бы ска-

зять, что революция почти сбросила с женщин одежду. В Париже, которому подражала вся Европа, женщины в наполеоновские времена носили шмиз – легкое платье с большим декольте и поясом под грудью. В этом тоже была революция: при «старом строе» дамы нещадно затягивались в корсеты, сооружавшиеся из кожаных и металлических пластин, китового уса и дерева. В корсете дама была как в панцире. Можно только попытаться представить разницу ощущений: ведь шмиз шился из легких полупрозрачных тканей (белые батист и муслин, перкаль, газ, креп), вес его составлял всего лишь 200–300 граммов. Поначалу из соображений пристойности под шмиз одевали розовое трико. Однако скоро французские дамы стали пренебрегать трико, оставаясь под платьем совсем голыми. (Жозефина Богарне для пущего эффекта опрыскивала свои платья водой – чтобы ткань липла к телу).

Так как шмиз больше всего напоминал ночную рубашку, парижане в те времена говорили: «Нашим дамам достаточно одной рубашки, чтобы быть одетыми по моде». Эта мода называлась «нагой». (Интересно, что нынешняя мода – топики, открывающие живот и грудь, называется «порно-шик»). Русский писатель Коцебу, побывавший в Париже в 1804 году, писал: «Туалеты, которые сейчас здесь считаются сдержанными и элегантными, сто лет тому назад не разрешались даже женщинам легкого поведения».

Правда, легкие одеяния даже в европейском климате при-

водили к простудам и чахотке – одна парижская газета советовала тем, кто желает встретиться с модницами, посетить кладбище Пер-Лашез. (Ситуацию спасали кашемировые шали. Моду на них ввела императрица Жозефина – ей шали были присланы Бонапартом в подарок из Египта).

Юрий Лотман пишет, что императрица Мария Федоровна на ужин, после которого император Павел был убит, пришла «в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи – дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца Павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной». Возможно, Лотман переоценивает событие: на картине фон Когельгена, изображающей Павла со всем его семейством, женская часть одета как раз в шмизы, из чего можно заключить, что по крайней мере внутри семьи это одевание скандалов не вызывало.

Потом оно и вовсе прижилось. В первых же сценах «Войны и мира» (июль 1805 года) маленькая княгиня Лиза Болконская на вечере у Анны Павловны Шерер показывает всем «свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой», а Элен Курагина на этом же вечере проходит «как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотой своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины» – в обоих случаях это тоже шмиз, разве что по особенностям кли-

мата сшитый скорее всего из тканей поплотнее. (Надо признать, что либо сам Толстой отлично разбирался в женской моде, хоть и отдаленной от него на полвека, либо у него были неплохие консультанты).

Пуританскими те времена могут считаться по главному незнанию и с большой натяжкой. Ту же Екатерину Багратион в Европе звали «*chatte blanche*» («белой кошкой») – за безграничную чувственность (а за ее платья – «*Le bel ange nu*» – «обнаженный ангел»).

В 1805 году она уехала за границу и с мужем своим не встречалась больше никогда! Так, надо понимать, она высказала свое отношение к этому браку. И Павел, и затем Александр смотрели на это сквозь пальцы – лишь бы внешние приличия были соблюдены. Видимо, из этих соображений Александр настоял, чтобы дочь Екатерины, рожденная ею от австрийского министра иностранных дел Клеменса Меттерниха и без особой конспирации названная Клементиною, была записана в роду Багратионов. (Хотя вполне возможно, что Александр просто от души потешался над ситуацией, в которую попал герой-генерал).

Однако при желании и над Александром мог бы посмеяться любой, кто имел на это достаточно мужества: в 1799 году его жена, великая княгиня Елизавета, родила девочку с черными волосами – это, мягко говоря, необычно, если учесть, что и Елизавета, и Александр были блондинами. Павел, увидев «внучку», спросил статс-даму Ливен, как же так вышло, на что статс-дама ответила: «Государь, Бог всемогущ!». На-

ходчивость не помогла: Павел, как и все убежденный, что ребенок – плод романа Елизаветы с князем Чарторыйским, отправил последнего послом к Сардинскому королю – назначение малопочетное вообще, тем более напоминало ссылку, что король тогда скитался по Европе, лишенный республиканцами-французами своего королевства. А девочка через год умерла...

Незаконнорожденные дети знати – это было целое явление в ту эпоху, не зря и Толстой ввел в «Войну и мир» бастарда – Пьера Безухова. Вольная жизнь и отсутствие действенной контрацепции создавали в дворянской среде немало казусов – например, вдруг беременели давно не видевшие мужей женщины (та же княгиня Багратион). Попавшие в интересное положение дамы уезжали рожать за границу, а вернувшись в Россию, объясняли наличие младенца по-всякому. Внучка Кутузова Екатерина Тизенгаузен (ее отец послужил Толстому прототипом в сцене, когда князь Андрей со знаменем в руках увлекает за собой солдат при Аустерлице – правда, Федор (Фердинанд) Тизенгаузен при этом был убит) в 1825 году вернулась из-за границы с мальчиком Феликсом. Она говорила, что мальчика будто бы передали ей на воспитание, но в свете полагали, что мальчик – ее сын от принца Фридриха Вильгельма Людвига Прусского (потом – король Фридрих Вильгельм Четвертый), который к тому времени уже два года как был женат на баварской принцессе Елизавете Людовике.

Косвенных подтверждений тому немало: например, крестным отцом мальчика стал император Николай Первый, давший ему от себя отчество Николаевич. Фамилия Эльстон также была присвоена царским указом. Есть ее комическое объяснение – будто бы о незамужних женщинах, которые вдруг ни с того ни с сего родили ребенка, тогда говорили по-французски «elle s'etonne» – «она удивилась». Если это так, то царь, делая эти слова фамилией, потешался от души.

Интересно, что от следующего императора, Александра Второго, Феликс Николаевич получил еще одну фамилию – Сумароков: тесть Феликса Николаевича Сергей Сумароков сыновей не имел, но царь решил, что столь знатный род не должен пресечься.

Один из организаторов убийства Распутина – князь Феликс Юсупов. Несмотря на фамилию, он внук Феликса Сумарокова-Эльстона, а Юсуповым стал, женившись: в роду Юсуповых не было сыновей, и, дабы 400-летний род не пропал, царь разрешил Феликсу Феликсовичу именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном. (Кроме древности рода, Юсуповы были еще несметно богаты: упоминаемый Яньковой Николай Юсупов не помнил на память все свои имения и при надобности сверялся по специальной книжке, «в которой по губерниям и уездам записаны были все его имения»). Впрочем то, что убийца Распутина прямой потомок толстовского персонажа – факт довольно известный: по поводу того, как причудливо тасуется колода, есть

работа немецкой исследовательницы Нормы Манн «Похищенная смерть». Тизенгаузенами Норма Манн, как и некоторые другие, заинтересовалась через Пушкина: поэт ухаживал за дочерью Фердинанда Дарьей (и даже удачно – описывая в «Пиковой даме», как Герман крадется в спальню к Лизе, Пушкин излагает свои приключения по пути к спальне Дарьи Тизенгаузен, причем в отличие от Германа Пушкин из спальни ушел только под утро). При этом еще и мать Дарьи, Елизавета, дочь Кутузова, будто бы не только дружила с Пушкиным, но и надеялась, несмотря на возраст, на нечто большее.

Иногда незаконнорожденным «на память» давали обрывки законных фамилий: так сын Ивана Трубецкого стал Бецким (уже упомянутый ранее куратор Смольного института). Чаще же родители проявляли фантазию: так, художник Орест Кипренский (сын помещика Дьяконова от крепостной крестьянки) имя Орест получил в честь одного из героев «Илиады», а фамилию Кипренский (изначально – Кипрейский) в честь богини Киприды (еще одно имя греческой богини любви Афродиты). Кипренский оставил множество портретов героев 1812 года, в том числе – портрет Евграфа Давыдова, который долгие годы считался портретом героя-партизана Дениса Давыдова, при том что Евграф и Денис двоюродные братья. (Евграф почти забыт историей и напрасно: в сражении при Лейпциге он потерял ногу и руку, получил Георгия третьей степени и чин генерал-майора, с

чем и ушел в отставку. Умер в 48 лет).

Поэт Василий Жуковский был незаконнорожденным отпрыском помещика Афанасия Бунина от пленной турчанки (имя ее было Сальха, а после крещения – Елизавета Турчанинова). Фамилию и отчество будущий автор поэмы «Певец во стане русских воинов» получил от крестного, помещика Андрея Жуковского, который мальчика усыновил. Вторая жена историографа Николая Карамзина была незаконной дочерью Ивана Вяземского от графини Сиверс и приходилась знаменитому поэту Петру Вяземскому сводной сестрой. После рождения она получила фамилию Колыванова по названию города, где родилась (Колывань было старое русское название Ревеля, ныне Таллина). Любимец царя Александра Николай Новосильцев (Новосильцов) был внебрачным сыном сестры графа Александра Строганова. Василий Перовский, в 1812 году колонновожатый свиты Его Величества, попавший в плен в Москве и чудом оставшийся в живых при отступлении французов (его судьба описана в романе Данилевского «Сожженная Москва»), был одним из семи внебрачных детей графа Алексея Разумовского от Марии Соболевской, дочери графского берейтора. Граф деликатно называл своих побочных детей «воспитанниками». Еще одним из них был Алексей Алексеевич (будущий писатель Антоний Погорельский, автор знаменитой страшной сказки «Черная курица, или Подземные жители», написанной в духе Гофмана, с которым Перовский-Погорельский был хорошо знаком

лично), в 1812 году вступивший в казачий полк и отличившийся при Лейпциге и Кульме. Он будто бы имел связь с собственной сестрой Анной, в результате чего у них родился сын (будущий писатель Алексей Толстой), в обществе считавшийся племянником Алексея Перовского. (Из этого же рода произошла через поколение Софья Перовская, террористка, повешенная за покушение на Александра Второго).

Участник наполеоновских войн Алексей Орлов был незаконным сыном Федора Орлова, одного из тех братьев, которые возвели на престол Екатерину. Сыну тоже довелось участвовать в перевороте: он командовал кавалерией, которая атаковала на Сенатской площади мятежников. В награду за верность Николай пожаловал Орлову титул графа, и самое главное – помиловал его брата Михаила, считавшегося одним из организаторов восстания и заслуживавшего по мнению царя шестой петли на кронверке Петропавловской крепости. (Это было уже второе чудесное спасение Михаила от верной смерти – в первый раз ему повезло в бою при Аустерлице, где он, эскадрон-юнкер Кавалергардского полка, участвовал в атаке, после которой в живых остался только один из десяти).

Из русских царей и цариц были те, чье происхождение вызывало толки. Достаточно известна версия, что Павел Первый на самом деле рожден Екатериной не от императора Петра Третьего, а от графа Сергея Салтыкова.

Император Александр Третий, узнав эту легенду, будто бы сказал: «Слава Богу, мы – русские!» (однако, выслушав аргументы против, царь с не меньшей радостью сказал: «Слава Богу, мы – законные!»). Однако мемуарист Николай Греч приводит рассказ, согласно которому и сама Екатерина могла считаться немкой с большой натяжкой: будущая российская императрица родилась после близкого знакомства ее матери в Париже с Иваном Бецким, незаконнорожденным сыном князя Трубецкого. «Связь Бецкого с княгиней Ангальт-Цербстской была всем известна, – пишет Греч. – Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого (ссылаюсь на прекрасный его портрет, выгравированный Радигом). Государыня обращалась с ним как с отцом».

За русскими царями и царицами также тянется шлейф бабстардов. Первый из графского рода Бобринских, рожденный в 1762 году Алексей, был сыном Екатерины Второй и Григория Орлова, от которого получил отчество. Мальчишку передавали от одного придворного к другому, фамилию свою

он получил по названию села Бобрики, выкупленного Екатериной ему для прокормления. Интересно, что взошедший на престол Павел отнесся к Бобринскому как к брату: жаловал титул графа и подарил огромный дом в Петербурге. Но самому Бобринскому столица была уже не мила – он уехал в свое имение в Тульской губернии. Бобринские – из тех редких людей, кто остался в истории России не военными подвигами: Алексей Алексеевич (сын основателя рода) развел в России сахарную свеклу и построил первый свеклосахарный завод.

Если из Бобринских никто в наполеоновскую эпоху себя не проявил (основатель рода был слишком стар, а его дети, напротив, еще чересчур юны), то уже первенец цесаревича Павла стал героем Отечественной войны.

В 1768 году к князю Юрию Трубецкому привезли мальчика-младенца и попросили дать ему лучшее воспитание и образование, не беспокоясь о затратах. Мальчик получил имя Иван, отчество Никитич, фамилию Инзов. Других Инзовых среди русского дворянства не было. Толковали, будто фамилия происходит от слов «иначе» и «знать», но даже если это так, то трудно понять, что она означает (тогда уж скорее «иначе зовут»). В 17 лет он получил от самой императрицы Екатерины деньги, достаточные для поступления в полк. Легенда, опираясь на безусловное сходство, гласила, что отец Инзова – император Павел, который, правда, даже после вступления на престол никак Инзова особо не отличал

(даже генерал-майором Инзов стал только при Александре, в 1804 году). В год рождения Инзова Павлу было 14 лет – по тогдашним меркам он уже вполне годился, чтобы проверить с кем-то свою способность к зачатию детей. Воевать с французами Инзов начал еще в 1799 году, пройдя в армии Суворова Италию и совершив Швейцарский поход. В 1812 году он был в армии Тормасова и возможность отличиться появилась лишь при отступлении французов из России.

Дослужился Инзов до полного генерала, но главную свою славу среди людей Инзов добыл не военными подвигами, а добрыми делами: став в 1818 году главой Попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края России, он выхлопотал переселенцам из Болгарии права и привилегии (личную свободу и свободу вероисповедания, участки казенной земли в 60 десятин на семью, освобождение от уплаты налогов на 10 лет, от военной и гражданской службы, право торговать, строить фабрики и др.), создал органы управления, которые сейчас называли бы демократическими. Так, все вопросы внутренней жизни, вплоть до разбора судебных дел колоний решало собрание колонистов (громада). Он создавал школы. Старался, чтобы чиновники вырастали из числа колонистов. В неурожайные годы поддерживал колонистов казенными деньгами. Во всем этом был большой государственный смысл: отошедшие к России в результате русско-турецкой войны 1806–1812 годов земли (Новороссия и Бессарабия) нужно было во всех смыслах «прижи-

вить» к империи. Инзов, несмотря на солидную разницу в возрасте, сдружился с сосланным на юг Пушкиным, поселил у себя и часто выгораживал поэта после его проказ. Наказывал поэта Инзов с фантазией – отбирал сапоги, чтобы Пушкин не мог выйти на улицу и набедокурить.

Колонисты почитали Инзова и звали его «дядо». Старый генерал велел похоронить его в Болграде (город на Украине). Когда в 1845 году Иван Инзов умер в Одессе, люди на руках несли его гроб в Болград – больше чем за 250 километров. Спустя почти полтора столетия пораженный этим советский поэт Феликс Чуев (автор книги «140 бесед с Молотовым») написал о генерале стихотворение «Попечитель»: «Наместник бессарабский В покое от боев Спасал от доли рабской Монахов, батраков. Простой и неспесивый Герой большой войны – Мы все ему «спасибо» За Пушкина должны...». Интересно, знал ли Герой Социалистического Труда Чуев, что, возможно, пишет про царского сына?

Все спали со всеми. Вольные нравы того времени были некой отдушиной – на территории любви все были равны. В соревновании за женское сердце знатность и титул роли не играли.

Когда Александр был еще великим князем и наследником, у него вышла история: влюбившись в княгиню Марью Антоновну Нарышкину (урожденная княжна Святополк-Четвертинская), он вдруг выяснил, что знаки внимания ей оказывает и Платон Зубов! Заключили пари: на чьи ухаживания Нарышкина ответит раньше, тот и победил. Или будущий царь ухаживал как-то не так, или красавица решила его «помариновать», но через некоторое время Зубов предъявил Александру записки, полученные от объекта пари. Александр отступился – правда, на время.

Александр вообще вряд ли был счастлив в личной жизни. Выросший под руководством бабки, он привык подчиняться женщине, а это не лучший навык для мужчины, а тем более – для монарха. Когда в 1793 году его, 16-летнего, и 14-летнюю Елизавету венчали в храме, то еще неизвестно, кого выдавали замуж – может быть, обоих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.